

Стеклянная река

мистический роман



Вера Тёмная

мистический любовный роман

18+

Вера Тёмная

Стеклянная река

<https://litres.ru/74381242>

SelfPub; 2026

Аннотация

Реставратор Вера Михайлова десять лет назад сбежала из Заречья — из-за Степана, который так и не пришёл на вокзал, и из-за исчезнувшей матери-художницы. И поклялась не возвращаться.

Но теперь её фирме достался подряд: восстановить старый речной вокзал, где была мастерская матери. Вера готова к пыли и старой краске, но не к тому, что найдёт под холстами: письма, которые мать не успела отправить, картину, которой не должно существовать, и правду о той осени, когда в Стеклянной реке утонула девушка, а городок обвинил Степана.

Степан всё ещё здесь — мрачный плотник, возящий людей через реку. Между ними десять лет недосказанности и одна холодная ночь. И Вере предстоит понять: мать не бросала её, а защищала. И Степан остался, чтобы оберегать их обеих.

«Стеклянная река» — пронзительный мистический роман о второй попытке. О том, что дом — это не место. Это люди.

Содержание

Глава 1. Поезд на север	4
Глава 2. Заречье	8
Глава 3. Москва	12
Глава 4. Наличники	14
Глава 5. Мастерская	17
Глава 6. Письма	20
Глава 7. Час до темноты	24
Глава 8. Девочка с реки	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Стеклянная река

Глава 1. Поезд на север

Поезд ушёл из Москвы в двадцать три сорок, и Вера простояла у окна до самого Звериногогорска, не сумев заставить себя лечь. Сначала по стеклу тянулись привычные огни: фонари, бетонные заборы, редкие дома с сонными окнами. Потом город кончился, начались поля до горизонта, потом снова лес — уже гуще, глуше, тёмный, и чем дальше на север, тем яснее Вера чувствовала, как в груди поднимается то, о чём она десять лет старалась не думать. Не страх даже. Скорее тяжёлая, липкая тишина, как вода, которая уже набрала полные лёгкие.

Она достала телефон, открыла заказ и долго смотрела на него, будто надеясь, что строчки изменятся. Старый речной вокзал, Заречье, Тверская губерния — ага, хоть тут фирма была честна. Перепрофилирование объекта культурного наследия под музей. Разбор, консервация, реставрация окон, подбор охры и умбры. Вера умела реставрировать чужие жизни: снимать слои, возвращать цвет, убирать то, что разрушает. С собственной жизнью у неё так не получалось.

Странно, но заказ вызвала не она. Договор ей подсунула начальница, Марина Львовна, коротко сказав: «Ты же оттуда. Значит, будешь аккуратна». Вера хотела отказаться. От-

казывалась полчаса, а потом поняла, что, пожалуй, устала бежать. Десять лет — солидный срок. Люди редко остаются злыми так долго, если их никто не дразнит.

Она закрыла глаза. За ресницами всплыл Заречье — то, каким оно было в её девятнадцать: улица вдоль реки, храм с облупленной колокольной, дом матери с резными наличниками, окно в мастерской, из которого всегда тянуло скипидаром и льняным маслом. И осень, дождливая, мокрая, та самая, которую она вычеркнула из жизни.

Мать позвонила ей тогда — она помнила этот звонок так, будто он прозвучал вчера. Голос у Лидии был странный, сорванный. «Верочка, ты уезжай. Не ищи меня, не жди меня, уезжай, поняла? Это важно». Вера не поняла. Она спросила «мама», в ответ — короткие гудки. А через две недели, когда Вера уже была в Москве, ей сообщили: Лидия Михайлова не вернулась домой. Ни денег, ни вещей, ни записки. Просто исчезла из маленького городка, где все тебя знают в лицо.

Вера подумала: мать её бросила. Так было проще, чем думать, что случилось что-то другое.

Утром за окном потекли уже знакомые, родные до боли места: высокие сосны, мост через реку, серые крыши. А потом из-за поворота открылась вода — широкая, светло-серая, и в ней, как в зеркале, отражалось небо. Стеклянная река. Вера невольно прижала ладонь к холодному стеклу. Под пальцами дрожал металл, и от этого старинного, дребезжащего звука ей на секунду показалось, что она снова девятна-

дцать, что сейчас состав остановится и на перроне будет он — в выцветшей куртке, с той его улыбкой, от которой у неё подламывались ноги.

Она не заметила, как поехала губами: «Мама».

Позади кто-то кашлянул. Вера обернулась. В проходе стояла женщина средних лет в строгом платье, с усталым, умным лицом и с папкой под мышкой — она всю ночь сидела через два ряда, Вера почти её не видела.

— Простите, — сказала женщина. — Это вы Вера Михайлова? Реставратор?

— Да, — Вера насторожилась. — А вы?

— Наталья Петровна Карякина, — женщина улыбнулась одними губами. — Я преподавала рисование в Заречье. Ваша мать была моей подругой. Я узнала вас по фотографии.

Вера смотрела на неё и чувствовала, как под рёбрами снова ворочается та самая тишина.

— Вы знали её, — сказала она. Это прозвучало не как вопрос.

— Знала, — ответила Наталья Петровна. И после паузы, чуть тише, добавила: — И я знаю, что вы едете не просто реставрировать вокзал. Вы едете в ту осень. Ваша мать не зря оставила вам этот заказ.

Вера резко вскинула голову.

— Что вы имеете в виду?

Но женщина уже отступила назад, в вагон, только обронила через плечо:

— Поговорим в Заречье. Там все разговоры — на берегу, под старым вокзалом. Так у нас принято.

И ушла, оставив Веру стоять у окна с бешено стучащим сердцем и одинокой мыслью, которая зацепилась за края сознания, как коряга за сеть: о каком таком заказе она говорит?

Глава 2. Заречье

На вокзале Заречье пахло так, как пахло всегда: дизелем, сырой доской и речной водой. Перрон был старый, камень в трещинах, и Вера на секунду испугалась, что сейчас повернёт голову и увидит его. Не увидела. Никого не увидела, кроме спящего рыжего кота и женщины с тележкой, которая разбирала утренний груз.

Она шла через городок пешком, и Заречье шло ей навстречу, почти не изменившись: те же кривые улочки к реке, тот же храм «с облупленной колокольной», та же зелёная площадь с памятником. Стало только тише. Окна некоторых домов были заколочены, кое-где висели таблички «Продается». У спуска к воде Вера наткнулась на забор из профнастила, за которым ходил жёлтый экскаватор. Участок под коттеджный посёлок — у человека, которому теперь принадлежала половина округа.

Она знала его имя, потому что его имя здесь знал каждый: Аркадий Селиванов. Земля, лес, коптильни, знаменитая гостиница на трассе — всё обрастало его загогулиной-подписью, как годовыми кольцами. В школе над ним посмеивались. Теперь над ним в Заречье не смеялся никто.

Вера шла к старому речному вокзалу. Он стоял на берегу, большой, тёмный, с облезлой краской и тяжёлыми окнами, и вид у него был такой, как у человека, который давно нико-

го не ждёт. Рядом, у воды, тихо подрагивал на волнах причал. На дощатой стенке висела табличка, выцветшая, старая: «Стеклянная река. Брод». И стрелка, нарисованная кем-то мелом, указывала в воду.

Вера перешагнула через лужу, взобралась на крыльцо. Ключ из фирмы открывал новую дверь со второго раза — замок здесь меняли, но сердце замка, кажется, осталось прежним. Она толкнула дверь, и та широко распахнулась с неровным, протяжным скрипом, и изнутри дохнуло холодом, пылью и десятилетним безмолвием.

Внутри было гулко и пусто. Свет неплотными косыми полосами падал на старые доски пола, на длинные лавки, на щит с расписанием, из-за которого Вера невольно улыбнулась: цены на билеты здесь так и остались с тысяча девятьсот восемьдесят шестого. Она провела пальцем по карте, по стёршейся надписи «Заречье — Остров — Верхний мост», и вдруг поняла, что стоит здесь уже четверть часа и просто дышит.

В глубине, за вторым залом, находилась мастерская. Дверь в неё была заперта уже не фирменным замком, а амбарным, висячим, на цепи, и Вера потрогала холодную цепь и ощутила, как под пальцами дрожит металл — так же, как в вагоне. Она поняла, что не хочет её снимать. Что внутри — то, что она десять лет откладывала на потом.

Сзади скрипнула доска. Она резко обернулась.

В дверном проёме стоял человек. Высокий, в выцвет-

шей куртке с закатанными рукавами, со светлыми волосами, убранными назад, с проседью на висках. Он смотрел на неё, и Вера сначала не узнала его — так он изменился. Это был не тот мальчишка с реки, который умел уговаривать закат и носил сапоги на два размера больше. Это был мужчина с тяжёлым, усталым лицом и с глазами, в которых стояла та самая река: серая, спокойная, ничего не обещающая.

— Степан, — выдохнула она.

Он не улыбнулся. Наклонил голову, разглядывая её так, будто сверял с собственным берегом — долго, без улыбки, без гнева, просто внимательно.

— Значит, вернулась, — сказал он. — А я думал, ты никогда не приедешь.

Вера не знала, что ответить. Десять лет она готовила слова — злые, холодные, точные, — а теперь они все куда-то делись. Осталась только эта сырая, тёмная тишина между ними, да ещё ветер с реки, который заходил в распахнутую дверь и шевелил вчерашнюю пыль.

— Да, — сказала она наконец. — Вернулась. По работе.

Степан кивнул, и в этом кивке было что-то такое, от чего ей стало нехорошо. Он посмотрел на дверь мастерской, на цепь, и медленно проговорил:

— А мать твою, я думал, ты успела забрать.

— Что? — переспросила Вера.

— Ну а как же ты думала? — Он побарабанил пальцами по косяку. — Она же все эти годы здесь жила. В мастерской,

вон. Умерла четыре года назад. Похоронили на кладбище у Старой церкви. Только ты об этом, получается, так и не узнала.

Глава 3. Москва

До того как Вера вернулась, у неё была другая жизнь, которой она, как ей казалось, гордилась. Москва, мастерская, подряды, имя, которое понемногу становилось известным, — ничего из этого она не получила просто так. Всё это она построила сама, на пустом месте, на той самой обиде на мать, которую она носила в себе как ношу.

Она вспоминала теперь, как уезжала. Как стояла на том же вокзале, девятнадцатилетняя, с одним чемоданом, полным книг и этюдников, и как смотрела на реку, и как ей казалось, что она навсегда эту реку оставляет. Она думала: я не вернусь. Я буду жить в городе, я буду реставрировать, я буду делать имя, я буду жить так, как мать для меня не смогла. И я не буду, как она, молчать и прятаться.

Но она не знала тогда, что, убегая от реки, она от неё не убежала. Что эта река ехала за ней в Москву, в её мастерскую, в её работу, в ту тишину, которую она, Вера, так старательно выстраивала вокруг себя. Она реставрировала картины, но не свою жизнь. Она умела снимать слой за слоем с чужого холста, но не умела снять слой за слоем с собственного сердца.

Она вспоминала Марину Львовну, свою начальницу, — женщину с острым, понимающим взглядом, которая всё знала про Заречье, потому что сама была оттуда. Марина Львов-

на не лезла в её прошлое. Она только однажды, когда Вера отказалась от подряда, сказала ей спокойно:

— Ты же оттуда. Значит, будешь аккуратна.

И Вера тогда не поняла, что она имела в виду. А теперь поняла: Марина Львовна знала. Она знала, что Вера боится вернуться, и она знала, что Вере нужно вернуться, чтобы наконец-то достроить — не дом, не вокзал, а саму себя. Она отправила её сюда не как реставратора. Она отправила её сюда как дочь, которая должна наконец-то вернуться к матери.

И Вера теперь, сидя в этом городке, понимала: Марина Львовна была права. Она бежала от этой реки всю жизнь, и река всё это время ждала её, чтобы она вернулась и всё закончила. И теперь, когда она вернулась, она поняла, что бегство ни к чему не привело. Что единственный способ простить — это вернуться. Что единственный способ жить дальше — это наконец-то перестать убегать.

Она сидела и думала об этом на берегу, и река стояла стеклянная, тихая, и в ней, как в зеркале, отражалось небо. И Вера впервые за долгое время не боялась этого отражения. Она смотрела в него и видела — не ту девчонку, которая убегала, а себя, взрослую, которая, наконец-то, вернулась. И которая была готова всё это закончить.

Глава 4. Наличники

Вере показалось, что у неё отнялась нога. Она даже не сразу поняла, что села на лавку — просто оказалась на ней, и под ладонями была холодная, гладкая, натёртая до блеска доска, на которой за десять лет до этого сидело, наверное, столько людей.

— Степан, — повторила она тихо. — Что ты говоришь? Мне же сообщили, что её ищут. Что пропала без вести. Я тогда... я подумала, что она... что она бросила меня.

— Я знаю, что ты подумала, — сказал он. — Потому что я тоже так подумал, когда она не вышла ко мне в тот вечер. Только она не пропадала, Вер. Она просто не хотела, чтобы ты её нашла.

Он стянул кепку, сел напротив, на перевёрнутый ящик, и теперь Вера видела его лицо целиком — морщины, ссадину на скуле, усталую, острую жалость, которая, кажется, была обращена к ней.

— Ты уехала и не вернулась, — продолжал он. — Я писал тебе. Раз пять писал, а потом понял, что ты не хочешь. А Лидия Михайловна никуда не делась, Вер. Она пришла ко мне на следующее лето и попросила помочь перенести станок из мастерской, потому что на вокзале начались «работы», и её попросили. Мы перевезли его к ней домой, в этот дом с наличниками. Она жила у себя. Писала. Болела потихоньку.

— Болела?

— У неё сердце было плохое, — сказал Степан. — И ещё хуже — она устала. Не от жизни, Вер. От того, что так долго притворялась, будто ничего не видела.

Вера подняла на него глаза. В горле пересохло.

— Что она видела?

Степан помолчал. За окном ветер дёргал заржавленную створку, и слышно было, как внизу, у воды, тихо, настойчиво тренькала тросом лодка.

— погоди, — сказал он. — Я тебе всё расскажу. Но ты должна сперва понять одно. Она не бросила тебя и не спряталась. Она осталась в Заречье, чтобы никуда не уходить отсюда. Чтобы быть так близко к правде, как только можно, — и так далеко от тебя, чтобы правда эта тебя не задела. Пони-маешь, Вер? Она любила тебя так, что даже от любви отка-залась. А это, я тебе скажу, дороже, чем все её картины вме-сте взятые.

У Веры защипало в носу. Она стиснула зубы.

— И она всё это время была здесь, — проговорила она глухо. — А я десять лет думала, что она меня бросила. Я письма её не читала, я на её звонки не отвечала. Я даже на похороны не приехала.

— Ты не знала, — сказал Степан. — Она сама не велела звать. Сказала: «Не тревожь девку. Пусть живёт».

Вера встала, прошла к окну и упёрлась лбом в холодное, запотевшее стекло. За ним, внизу, начиналась река — та са-

мая, которую в Заречье все звали Стеклою, потому что в тихую погоду она стояла такая гладкая, что в ней можно было разглядеть собственное лицо до самой глубины.

— А я ведь тоже её нет, — тихо сказала она. — Я её десять лет нет.

Степан подошёл и встал рядом, не касаясь.

— Да, — сказал он. — Я знаю. Я тоже её десять лет нет. Только она мне простить себе не может, что я тогда, на вокзале, не пришёл. Что я остался. Что я думал — защищу, а по-настоящему просто спрятался.

Вера обернулась. Между ними было всего полшага, и пахло от него, как раньше: рекой, дровами, потом и чем-то тёплым, домашним.

— Ты не пришёл не поэтому, — сказала она. — Ты не пришёл, потому что видел ту ночь.

Он опустил глаза.

— Я видел.

И в этом слове было столько тёмной, тяжёлой ноши, что Вера вдруг поняла: он несёт это одиночку все десять лет. И нести ему с ней эту правду предстоит вдвоём.

Глава 5. Мастерская

— Сними цепь, — сказала Вера.

Степан кивнул, достал из связки старый ключ и открыл амбарный замок. Цепь тяжело провисла, упала, звякнула о доски. Дверь внутрь распахнулась, и на Веру пахнуло так, как пахло десять лет назад: скипидаром, льняным маслом, деревом, старой бумагой. Но теперь к этому запаху примешивался ещё один — горьковатый, пыльный. Так пахнут вещи, до которых перестали дотрагиваться. Так пахнет не мастерская. Так пахнет память.

Она стояла на пороге, боясь шагнуть. Мастерская была маленькой и до потолка заваленной: свернутые холсты, коробки, кисти в банках из-под майонеза, тюбики, высохшие так, что превратились в камень. Посреди всего этого, как сырое пятно света, стоял мольберт. На нём, прикрытый грубой мешковиной, — холст.

— Я ничего тут не трогал, — тихо сказал Степан. — Это ведь её. Я только тряпку иногда брал. Чтобы пыль не садилась.

Вера не ответила. Она подошла к мольберту — медленно, будто шла не через комнату, а через глубокую воду — и сняла мешковину.

Река. Та самая, стеклянная, в вечернем пронзительно-тихом свете. Но писали её не как пейзаж. На переднем плане,

обернувшись через плечо, стояла фигура молодой женщины в лёгком платье. Лицо было недописано — только один глаз, чёрный, смотревший прямо на смотрящего. И в этом глазу Вера с ужасом узнала... кого-то. Не себя, не мать. Кого-то чужого, но до мурашек знакомого.

— Это... — начала она.

— Это я не знаю, — перебил Степан. — Я её никогда не видел. Стеснялся, что ли. Один раз только открыл, а она осерчала и повесила замок на дверь мастерской, когда ещё тут жила. Сказала, это не для чужих глаз.

Вера осторожно перевернула холст. На обратной стороне, на углу, что-то было написано карандашом — торопливо, почти неразборчиво. Она поднесла ближе к окну, к белому, косому свету: «ОНА ВИДЕЛА. ОНА ВСЁ ПОНЯЛА. НЕ УСПЕЛА». И ниже, совсем мелко, дата. Та самая. Осень её девятнадцатого года.

У Веры похолодели кончики пальцев.

— Это не мама рисовала, — сказала она вдруг. — Эту реку, эту фигуру... Видишь, тут другой мазок. Другой почерк. Кто-то другой это писал, а мать только дорисовала глаз. Или... — она подняла глаза на Степана, — или это мама, но это не её картина. Это чья-то картина, которую она закончила.

Степан молчал, нахмурившись.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, — медленно проговорила Вера, — что

ты знал мою мать всю жизнь. Она была художницей. У неё был свой подчёрк круговой, узнаваемый. А это — не её. Это чужое. Это картина деда Матвея.

Это имя повисло в воздухе, как дым.

Степан побледнел.

— Матвей умер вскоре после той осени. Сказали — сердце. А ты говоришь...

— Я говорю, — Вера положила холст на мольберт, — что кто-то дорисовал его картину. И что на ней тот, кого он видел. И что она знала, о чём эта картина. И не успела.

Она посмотрела в чёрный, смотрящий глаз на недоработанном лице, и ей показалось, что он моргнул. Наверное, просто свет. Но сердце у неё всё равно ушло в пятки.

Глава 6. Письма

До вечера Вера разбирала мастерскую. Степан помогал — молча переносил коробки, выносил пустой хлам, и от этого его спокойного, уверенного молчания рядом Вере становилось и спокойно, и больно одновременно. Она знала его двадцать лет. Она любила его с шестнадцати. И она так и не узнала, что же тогда случилось.

В дальнем углу, за старым шкафом, она нашла жестяную коробку из-под печенья, заклеенную изолентой. Вера срезала её перочинным ножом, боясь, что внутри ничего нет. Внутри были письма. Много. На серой, пожелтевшей бумаге, в старой папке, перетянутой бечёвкой. Почерк был крупный, торопливый, мужской. Первое письмо начиналось без обращения, сразу, будто человек писал это в спешке, на коленке, прижав бумагу к бедру:

«Лида, прости меня. Я не знал, что она пойдёт за мной. Прости, что втянул тебя. Прости, что втянул её. Я бы лучше ушёл сам, а так...»

Письмо обрывалось на середине фразы. Без подписи. Но Вера и так узнала бы эти буквы — она видела их раньше, на щитке у реки, в старом расписании, на ящиках, что до сих пор стояли на причале. Это была рука деда Матвея.

— Он писал матери, — глухо сказала Вера. — Он что-то знал, Степа. Он что-то видел. И он просил у неё прощения.

За что?

Она развернула следующее письмо. Оно было короче, и в нём уже не было той лихорадочной спешки, была только усталость:

«Лида, ты не должна был влезать. Я уже старый, мне недолго. А тебе — тебя ждёт дочь, тебя ждёт жизнь. Если что-то случится, обещай мне: ты не будешь молчать вечно. Ты дождёшься, когда они забудут, и ты это допишешь. Обещай. Так я хотя бы умру спокойно».

Вера перечитала эти строки три раза. Сердце стучало где-то в горле.

— Он боялся, — сказал Степан тихо. — Он знал, что его убьют. Он чувствовал.

— И его убили, — сказала Вера. — Сказали — «сердце». А теперь я думаю, что это не просто так.

Она перебрала остальные письма: обрывки, заметки, номера телефонов, рисунки с цифрами, один пожелтевший план реки с крестиками, поставленными от руки. И в самом низу, под всеми бумагами, — фотография. Чёрно-белая, старая, с выцветшими краями. На ней стояли двое: молодой человек в форменной фуражке речника и девушка в светлом платье. Подпись, сделанная материным почерком, гласила: «Матвей и Галина, лето 1981. Тогда всё ещё было можно».

— Галина, — прошептала Вера, добывая воздух. — Галина Панкратова... жена деда Матвея, моей матери подруга. Я думала, это о ней он писал.

— О Галине-то? — Степан нахмурился. — Нет, Вер. Га-лина жива, ей под шестьдесят, она до сих пор живёт у лесо-завода. Ты не о ней.

— Тогда о ком?

Степан помолчал. Потом взял фотографию, повертел её в руках и отложил.

— А ты помнишь, кого нашли у пристани тогда? — спро-сил он. — Ты вообще помнишь её имя?

Вера зажмурилась. Десять лет она запрещала себе это вспоминать, и теперь лицо всплывало — бледное, молодое, с мокрыми волосами, слипшимися на лбу. Она шла в ту осень по реке, она училась на художника, она каждый день таскала этюдник. И её звали...

— Варя, — прошептала Вера. — Варя Панкратова. Внуч-ка деда Матвея.

— Внучка, — подтвердил Степан. — Единственная. И ей было девятнадцать, Вер. Таких, как она, здесь больше не осталось.

Вера медленно опустилась на ящик. Письма, план реки, чужая картина с чёрным глазом — всё это вдруг перестало складываться в ту картинку, которую она построила в голове, и собралось в другую, гораздо темнее.

— Значит, дед Матвей писал матери не про жену, — ска-зала она. — Он писал про внучку. «Я не знал, что она пой-дёт за мной». Варя пошла за дедом на реку. И её нашли у пристани. А он видел, кто это сделал, — и не успел сказать,

потому что его убили.

— Вот это и есть вопрос, — сказал Степан. — Который мы так и не задали, потому что боялись ответа. Но ты, получается, приехала, чтобы его задать, — он посмотрел на неё прямо. — Хорошо. Съездим к Галине. Она мать-то твою любила, как родную. Может, она сейчас захочет говорить.

Глава 7. Час до темноты

Они вышли из мастерской, когда солнце уже стояло низко над рекой и вода горела так, что резало глаза. Вера подумала, что надо бы пойти к тётке Галине. Потом подумала, что не знает, где она живёт. Потом — что десять лет назад знала бы. Что она знала в Заречье всё, а теперь не знает ничего, кроме запаха воды и этой разрушающей, нарастающей, как прилив, догадки.

— Погоди, — остановилась она на крыльце. — Я хочу понять главное. Ты говоришь, Галя жива. Тогда десять лет назад нашли не её. Тогда кого?

Степан присел на перила. Под ним, внизу, стояла лодка — старая, обшарпанная, с высокими бортами, и трос её тоненько поскрипывал. Он смотрел на неё долго.

— Того, кто шёл за ней, — сказал он наконец. — Но это не точно. Я не видел лица. Я видел только, как по реке идёт лодка, и в ней стоял человек, а на причале на рассвете нашли то, от чего у меня до сих пор сердце обрывается, если я об этом думаю.

— Ты был там, — прошептала Вера.

— Я был там, — сказал он. — Потому что я шёл за ней. Я шёл за тобой.

— За мной?

— Мы же должны были встретиться, Вер. Ты ждала меня

на вокзале, а я шёл к тебе через берег. И я видел лодку. И я подумал, что это ты. Что ты решила уйти одна, что села в лодку, что не стала ждать. И я побежал за лодкой, я бежал вдоль берега, и я видел, как её отталкивают от пристани. И когда я добежал до пристани, там уже никого не было. Только утренний туман и свежий, мокрый след на досках.

Он замолчал. Ветер дёргал его куртку, и в этом локте, в этих обветренных, тёмных руках было столько изношенного горя, что Вере стало почти страшно.

— Я всю ночь думал, кого я видел, — сказал он. — И я до сих пор не знаю. Но теперь ты здесь, и ты — реставратор. Ты умеешь снимать слои. Может, ты снимешь слои и с той ночи.

Вера стояла и смотрела на него, и вдруг поняла, что за эти десять лет ни разу не спросила себя, что же он чувствовал. Что она была так занята своей обидой, что даже не подумала: он тоже кого-то потерял. Он потерял её, и он потерял себя, и он потерял ту ночь, и всё это время жил с ней, как с костью, застрявшей в горле.

— Степан, — сказала она. — Ты... ты всё это время думал, что я утонула?

Он поднял на неё глаза. В них были река и усталость.

— Я думал, — сказал он. — До тех пор, пока не увидел тебя сегодня. Я полжизни ждал, что ты вернёшься и расскажешь мне, что это был не ты. А ты вернулась и даже не знаешь, что я ждал.

У Веры перехватило дыхание. Она хотела шагнуть к нему

— и не смогла. Потому что за их спинами, со стороны дороги, раздался тяжёлый, уверенный шаг по гравию, и чей-то низкий голос произнёс:

— Вот это встреча. Вера Михайлова, собственной персоной. А я смотрю — вроде знакомая фигура у вокзала.

Вера обернулась. На верхней ступеньке, руки в карманах дорогой куртки, стоял человек лет пятидесяти, широкоплечий, с тяжёлым, властным лицом и с глазами, которые как будто уже всё для себя решили. Это был Аркадий Селиванов. И он улыбался. Только улыбка эта не доходила до глаз.

— Здравствуйте, Аркадий Юрьевич, — сказала Вера. Голос её прозвучал ровнее, чем она надеялась.

— Здравствуй, здравствуй, — он спустился на шаг. — А я, значит, слышу — реставраторы приехали вокзал восстанавливать. Хорошее дело. Только вокзалу этому давно не жить, Вера. Я его сношу. Скоро тут будет не музей, а нормальная пристань и гостиница. И тебе, и твоей фирме, честно говоря, тут ничего не светит.

Он говорил спокойно, почти ласково, и от этой ласковости Вере сделалось холодно.

— Пока у меня реставрация не сделана, — сказала она. — Пока вы его не снесли.

— А ты не торопись, — сказал он. — Ты лучше поезжай, куда ехала. В Москву там, к себе. Насмотришься на вокзал, и прощай. А то, знаешь, бывает: куда не надо, засмотришься — и что-нибудь с тобой случится. Городок у нас тихий. Но

река здесь, сама знаешь, какая.

И он посмотрел не на Веру. Он посмотрел на лодку на причале. А потом повернулся и пошёл вверх по дороге, не оборачиваясь, и только след его на пыльном гравии ещё отдавал тем же холодом.

Вера стояла, и внутри у неё наконец-то беззвучно, отчётливо сложилась главная из всех догадок: он не случайно пришёл. Он знал, что она здесь. И он не хотел, чтобы она осталась. Он хотел, чтобы она уехала, — и это был самый надёжный ответ на вопрос, что же она должна здесь найти.

Глава 8. Девочка с реки

До того как всё сломалось, у Веры, у неё, была в Заречье целая жизнь, и она любила её так, как любят только то, что потом теряют. Иногда, особенно теперь, когда вернулась, она ловила себя на том, что вспоминает не ту осень, а совсем другое, раннее и тёплое, — то, что было до. И ей казалось, что именно это, до, и есть настоящий дом, а всё остальное — только долгая дорога обратно к нему.

Ей было семь, когда она впервые села на колени к старому деду Матвею. Это было на причале, и дед Матвей тогда ещё был не дед, а просто Матвей Панкратов, высокий, с лицом, потрескавшимся от ветра, с ясными, весёлыми глазами и с руками, которые умели всё: и лодку починить, и удочку связать, и рассказать такую сказку, что забываешь, где ты.

— Ты, что ли, Лидочкина? — сказал он, глядя на неё сверху. — А, узнал. У тебя глаза, как у реки. Только у твоей матери вода светлая, а у тебя — глубокая. Ты, девка, гляди, как бы в ней не утонула.

— Не утону, — сказала Вера важно. — Я плавать умею.

— Плавать — это не то, — сказал дед Матвей, и улыбка у него стала тихая, печальная. — В реке, девка, тонут не те, кто не плавает. Тонут те, кто слишком много в ней видит.

Тогда Вера не поняла. Она поняла это только через много лет, стоя на том же причале и глядя на ту же, стеклянную,

всё помнящую воду.

А ещё у Веры была мать. Лидия Михайлова, которую в За-речье звали просто «наша художница», потому что она писала реку так, что люди, глядя на её картины, плакали, сами не зная почему. Вера росла среди этой реки и среди этих картин. Ей казалось, что у всех так: что дом пахнет скипидаром и льняным маслом, что мать целыми днями стоит у окна в мастерской и что-то растирает, бормочет, напевает, а потом оборачивается и улыбается ей — светло, тепло, как солнце, упавшее на воду.

Она любила те вечера, когда они вдвоём шли к реке. Лидия брала с собой этюдник, а Вера — бутерброд и старую книгу, и они сидели на берегу до самых сумерек, пока река не становилась стеклянной, и тогда Лидия говорила какую-нибудь из своих странных, тихих вещей.

— Вода, Верочка, — говорила она, — она как память. Она всё записывает, только не своим, а нашим языком. Поэтому её надо читать глазами. Поэтому я её и рисую. Чтобы кто-нибудь другой, кроме меня, тоже сумел прочесть.

— А что она записала? — спрашивала Вера.

— Всё, — отвечала мать. — И то, что было доброго. И то, что было страшного. Только пока она это пишет, она молчит. А когда заговорит — тогда уж поздно будет что-то спрятать.

— А почему нельзя спрятать? — не понимала Вера.

— Потому что река честная, — говорила мать. — Честнее людей. Мы все врем, Верочка. А она — нет. Она только

помнит.

Степана Вера знала с двенадцати лет. Он был старше её на три года, он был сыном речника, и он умел то, что не умел никто из её сверстников: он умел молчать. Не так, как молчат, когда нечего сказать, а так, как молчит река, когда она полна. Он приходил на причал с удочкой, садился и смотрел на воду, и Вера, глядя на него, тоже замолкала, и им обоим было хорошо в этом молчании.

— О чём ты думаешь? — спросила она его однажды.

— Да ни о чём, — ответил он. — Просто смотрю.

— А что ты видишь?

Степан помолчал. Потом сказал:

— Как она всё запоминает. Я вот тут, в этом месте, в прошлом году видел, как лодка тонула. И до сих пор вижу. А ты?

Вера посмотрела на воду. И она и правда увидела. Не лодку, а другое — что-то своё, тёмное, что ещё не случилось, но уже ждало её на дне.

— Я тоже вижу, — сказала она. И когда она это сказала, ей стало не по себе, будто она проговорила вслух то, о чём нельзя говорить.

А потом они выросли. И река всё так же стояла на месте, стеклянная, честная, и ждала. И Вера, глядя на неё теперь, взрослая, на том же причале, думала о том, что мать была права: она и правда слишком много в ней видела. И она и правда чуть не утонула. Только не в воде. В молчании. В том самом, которое она принимала за предательство и которое

на самом деле было любовью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.